# З. Маркас

# Оноре де Бальзак

Я ни разу не встречал, даже среди наиболее замечательных людей нашего времени, человека столь поразительной наружности; изучение этого лица внушало чувство грусти, переходившее под конец в ощущение, сходное с болью. Существовало какое-то соответствие между этим человеком и его именем. Буква «Z», стоявшая перед фамилией Маркас, — буква, которую можно было видеть на всех адресованных ему письмах, которую он никогда не забывал проставить в своей подписи, — эта последняя буква алфавита заключала в себе нечто неуловимо роковое.

*Маркас!* Повторите про себя это имя, состоящее из двух слогов: не чувствуете ли вы в нем какое-то зловещее значение? Не кажется ли вам, что человека, который носит это имя, ждет удел мученика? Хоть это имя странно и дико, у него все права на то, чтобы сохраниться в памяти потомства; оно звучит стройно, оно легко произносится, ему присуща та краткость, которая подобает прославленным именам. Не ощущается ли в нем нежность, равная его необычности? Но не кажется ли оно вам также незаконченным? Я не взялся бы утверждать, что имена не оказывают никакого влияния на судьбу. Существует тайная и необъяснимая гармония или, наоборот, явный разлад между именем человека и событиями его жизни; здесь нередко вскрывались отдаленные, но действенные соответствия. Битком набит весь шар земной, все в нем находится в связи со всем. Быть может, когда-нибудь люди вернутся к тайным наукам.

Не видится ли вам в форме буквы «Z» нечто изломанное внешним противодействием? Не отображают ли очертания этой буквы неверный и причудливый зигзаг бурной жизни? Что за ветер дохнул на эту букву, которая во всех тех языках, где она существует, стоит во главе каких-нибудь пятидесяти слов, не более! Маркаса звали Зефиреном. Святой Зефирен — один из наиболее почитаемых бретонских святых. Маркас был бретонец.

Вдумайтесь еще раз в это имя: З. Маркас! В фантастическом сочетании этих семи букв — целая человеческая жизнь. Семь! Наиболее многозначительное из кабалистических чисел. Носитель этого имени умер тридцати пяти лет: таким образом, его жизнь слагается из семи пятилетий. Маркас! Как будто что-то драгоценное падает и разбивается то ли с шумом, то ли беззвучно.

Я кончал в 1836 году юридический факультет Парижского университета. Жил я в ту пору на улице Корнеля, в гостинице, все номера которой сдавались студентам. Это было одно из тех зданий, в глубине которых вьется лестница, освещаемая сначала светом с улицы, затем подслеповатыми окошками и, наконец, чердачным окном. В этой гостинице было сорок номеров, обставленных так, как обставляются комнаты, предназначенные для студентов. В каждом из них имелась кровать, несколько стульев, комод, зеркало и стол, — а что еще нужно в молодости! Как только небо прояснится, студент открывает окно. Но на этой улице он не найдет соседки, за которой можно поволочиться. По ту сторону улицы взоры его встречают давно закрытый Одеон, с его уже потемневшими стенами, оконцами актерских уборных и широкой черепичной крышей. Я был не настолько богат, чтобы снять красивую и удобную комнату и даже вообще снять комнату. Мы с Жюстом занимали вдвоем номер с двумя кроватями на шестом этаже.

По эту сторону лестницы находились только две комнаты: наша и другая, маленькая, — ее занимал З. Маркас. С полгода ни я, ни Жюст ничего не знали о нашем соседе. Правда, старуха, ведавшая гостиницей, сказала нам, что маленькая комната занята, но добавила, что сосед беспокоить нас не будет, так как он на редкость тихого нрава. И действительно, в течение шести месяцев мы ни разу не встретились с нашим соседом и не слышали в его комнате никакого шума, хотя нас разделяла только переборка — дощатая оштукатуренная переборка, столь обычная для парижских квартир.

Наша комната имела семь футов в вышину, ее стены были оклеены грошовыми бумажными обоями с букетами по голубому полю. Пол был крашеный, без того лоска, который умеют наводить полотеры. Перед нашими кроватями лежало по тощему коврику. Труба камина выходила почти тут же на крышу и дымила так сильно, что нам пришлось оборудовать над нею колпак за свой счет. Узкие, крашеные деревянные кровати напоминали кровати школьных дортуаров. На камине виднелись только два медных подсвечника, то со свечами, то без свечей, две наши трубки, табак, рассыпанный или в кисете, да кучки пепла, оставленные посетителями или нами самими, когда нам случалось курить сигары. На окне висели миткалевые занавески, скользившие по железному пруту. Справа и слева от окна были прибиты к стене две небольшие книжные полки из дерева дикой вишни, знакомые всем, кто бывал в Латинском квартале; мы держали на них те немногие книги, которые были необходимы нам для занятий. Чернила в чернильнице неизменно напоминали лаву, застывшую в кратере вулкана (разве любая чернильница не может в наше время стать Везувием?). Затупившимися перьями мы прочищали свои трубки. Вопреки законам денежного обращения, бумага была у нас еще более редким гостем, чем звонкая монета.

Можно ли удержать молодых людей в подобных комнатах? Понятно, что студенты работают в кафе, в театре, в аллеях Люксембургского сада, у гризеток, даже в университете — всюду, только не в ужасной своей комнате: ужасной — если дело идет о работе, прелестной — когда в ней болтают и курят. Накройте стол скатертью, вообразите, что перед вашими глазами обед, доставленный лучшим ресторатором квартала, четыре прибора, две девушки, закажите литографский снимок с этой картинки домашней жизни, — завзятая святоша и та улыбнется, взглянув на нее.

Мы думали только о развлечениях. Доводы в пользу такой беспорядочной жизни мы почерпнули из наблюдений над одной весьма серьезной стороной современной общественной жизни. Ни Жюст, ни я не видели ни малейшей возможности завоевать себе положение на тех двух поприщах, которые мы избрали по настоянию наших родителей. Вместо одного адвоката, одного врача — их сотня. Толпа осаждает эти два поприща. Ей кажется, что это — два пути к успеху, а в действительности это две арены: на них соперники убивают друг друга, борются друг с другом — не огнестрельным или холодным оружием, но интригами и клеветой, напряженнейшим сверхчеловеческим трудом, интеллектуальными походами, такими же кровопролитными, какими были итальянские походы республиканских солдат. Теперь, когда всюду идет состязание умов, нужно научиться проводить по сорок восемь часов подряд в кресле за письменным столом, как полководец некогда оставался по двое суток в седле. Избыток состязающихся заставил медиков разбиться на категории: есть врач пишущий, врач лечащий, врач политиканствующий и врач воинствующий; четыре разных способа быть врачом, четыре раздела, уже заполненных до отказа. В пятой группе — группе врачей, торгующих лечебными снадобьями, — свирепствует конкуренция; там бьются оружием гнуснейших реклам, расклеиваемых по стенам парижских домов. Во всех судах почти столько же адвокатов, сколько дел. Адвокат бросился в журналистику, политику, литературу. Добавьте к этому, что и государство, осаждаемое бесчисленными претендентами на все, даже самые ничтожные, судебные и административные должности, в конце концов стало требовать от кандидатов наличия определенного состояния. Грушевидный череп тупоумного сынка богатого бакалейщика предпочтут квадратной голове дельного молодого человека, одаренного талантом, но без гроша в кармане. Юноша, у которого ничего нет, даже если он усердно трудится и напрягает все свои силы, все-таки рискует через десять лет оказаться ниже той точки, с которой он начал. В наши дни талант может пробиться только при том же условии, что и бездарность — если ему повезет. Более того, вздумай он отказаться от тех низменных средств, при помощи которых добивается успеха пресмыкающаяся посредственность, он никогда не достигнет цели.

Мы в совершенстве знали нашу эпоху, знали и самих себя, и потому избрали праздность мыслителей, а не бесцельную деятельность; ленивую беспечность и веселье, а не тщетный труд, который только ослабил бы нашу отвагу и притупил бы остроту ума. Жизнь современного общества была нами проанализирована во время веселой беседы, за трубкой, на прогулке, но это отнюдь не умалило ни трезвости, ни глубины наших суждений и наших речей.

Мы видели, что молодежь обречена на бесправие илотов, и все же нас поражало грубое равнодушие власти ко всему, что принадлежит области ума, мысли, поэзии. Какими взорами нередко обменивались мы с Жюстом, читая газеты и узнавая о политических событиях, пробегая отчеты о прениях в палатах, обсуждая поведение королевского двора, упрямое невежество которого сравнимо лишь с пошлостью его придворных, с бездарностью тех людей, которые окружают стеною новый престол, — людей, лишенных ума и способностей, ничем не прославившихся и ничего не изучивших, людей без общественного веса и без душевного величия. Поистине нельзя представить себе лучшей похвалы двору Карла X, чем теперешний двор, если только его можно считать королевским двором! Какая ненависть к стране сказывается в том, что заурядных, бездарных иностранцев принимают во французское подданство, торжественно вводят в палату пэров! Какое беззаконие! Какое этим наносится оскорбление молодым знаменитостям и честолюбивым отечественным деятелям! Мы смотрели на все это со стороны и горько сетовали, не принимая, однако, никакого решения относительно нашей личной судьбы.

Жюст, которого не разыскивал в его мансарде ни один покровитель и который сам не стал бы себе искать покровителя, был, в двадцать пять лет, проницательнейшим политиком, он обладал изумительным даром улавливать самые отдаленные связи между событиями настоящего и будущего. Еще в 1831 году он предсказал мне то, что, по его мнению, должно было произойти и действительно произошло: убийства, заговоры, владычество евреев, затруднительное положение, в котором оказалась Франция, духовное оскудение высших классов и обилие талантов в низах, где, однако, самое пылкое мужество зачастую угасает под пеплом сигары. Чем мог сделаться Жюст? Его семья хотела, чтобы он стал врачом. А стать врачом — не значило ли это двадцать лет дожидаться пациентов? Вы знаете, чем сделался Жюст? Нет? Ну, так знайте: он врач; но он покинул Францию, он в Азии. В эту минуту он, быть может, гибнет, обессилев, в пустыне, или умирает под ударами дикой орды, или, быть может, состоит первым министром какого-нибудь индийского раджи. Что касается меня, то мое призвание — действие. Я окончил коллеж в двадцать лет, следовательно, мог поступить на военную службу лишь простым солдатом. Обескураженный теми печальными перспективами, которые сулила мне профессия адвоката, я изучил мореходство. И, следуя примеру Жюста, я бегу из Франции, где, чтобы заставить других потесниться и дать тебе место, нужно затрачивать столько же времени и энергии, как и для подлинного созидания. Следуйте моему примеру, друзья мои: мой путь ведет туда, где человек — хозяин своей судьбы.

Эти важные решения были приняты с холодной трезвостью в нашей комнатке на улице Корнеля, что не мешало нам посещать Мюзаровские балы, волочиться за веселыми девушками и вести безрассудный, с виду беспечный образ жизни. Наши решения и размышления долго не могли вылиться ни во что определенное. Маркас, наш сосед, послужил нам здесь как бы проводником: он привел нас к самому краю той пропасти или той пучины, какою является жизнь современного общества; он дал нам возможность измерить ее глубину и заранее показать, что нас ждет, если она нас поглотит. Он открыл нам глаза на всю бесплодность тех надежд и тех отсрочек, каких неудачники добиваются от своего кредитора — нищеты, когда они соглашаются занять самое ничтожное место, только бы продолжать борьбу, только бы не расстаться с бурной стихией Парижа, этого города, где неудача живет на средства случая, этой великой куртизанки, которая с одинаковой легкостью берет и вновь бросает вас, улыбается вам и повертывается к вам спиной, истощая тщетным ожиданием самую могучую волю.

Наша первая встреча с Маркасом произвела на нас ошеломляющее впечатление. Вернувшись из университета, перед обедом, каждый из нас подымался в нашу комнату, где мы и поджидали друг друга, чтобы узнать, не изменилось ли что-нибудь в наших планах на вечер. Однажды, в четыре часа, Жюст увидел Маркаса на лестнице; я же встретился с ним на улице. Стоял ноябрь, но Маркас был без плаща. На нем были башмаки с толстой подошвой, панталоны из грубого сукна, со штрипками, и синий, застегнутый доверху сюртук с прямым воротником, который придавал Маркасу военный вид, тем более что на шее у него был повязан черный гастук. В таком костюме нет ничего необычного, но он гармонировал с лицом и осанкой этого человека. Первым моим чувством при виде Маркаса было не ощущение чего-то неожиданного, не изумление, не грусть, не интерес и не сострадание, но — любопытство, в котором заключалось нечто от всех этих чувств. Маркас шел медленно; в походке его сказывалась глубокая меланхолия: голова была слегка опущена, однако не потуплена, как обычно у людей, чувствующих себя в чем-то виновными. Эта крупная, могучая голова, казалось, хранившая в себе сокровища, необходимые для величайшего честолюбца, была словно обременена мыслями; она изнемогала под тяжестью какой-то душевной муки, хотя в чертах его лица нельзя было уловить ни малейшего намека на угрызения совести. Это лицо можно определить одним словом. Согласно довольно распространенному воззрению, каждое человеческое лицо являет сходство с каким-либо животным: Маркас походил на льва. Его волосы напоминали гриву, нос был короткий, тупой, широкий, раздвоенный на конце, как у льва, лоб, подобно львиному, делился глубокой бороздой надвое — на два мощных выступа. Крайняя исхудалость щек подчеркивала волосатые, резко выступающие скулы; по бокам огромного рта и вдоль впалых щек тянулись гордо очерченные подвижные морщины, оттеняемые желтоватым тоном лица. Лицо это, почти грозное, было озарено двумя светочами — двумя черными глазами, бесконечно нежными, спокойными, глубокими, исполненными мысли. Эти глаза, если можно так выразиться, были принижены. Маркас словно боялся взглянуть на кого-нибудь, боялся не столько за себя, сколько за тех, на кого упал бы его завораживающий взгляд; он обладал некоей силой, но не хотел ею пользоваться; он щадил прохожих, он трепетал при мысли, что на него могут обратить внимание. То была не скромность, а смирение, не христианское смирение, неотделимое от милосердия, но смирение, подсказанное разумом, сознанием того, что таланты в наши дни бесполезны, что ты не можешь проникнуть в среду, отвечающую твоим склонностям, и жить в ней. В иные минуты этот взгляд мог метать молнии. Из этих уст должен был исходить громовой голос, очень напоминавший голос Мирабо[[1]](#footnote-1).

— Я только что встретил на улице замечательного человека, — сказал я Жюсту, входя.

— Это, видимо, наш сосед, — ответил Жюст. И действительно, он описал наружность встреченного мною человека. — Таким и должен быть тот, кто живет, как мокрица, — сказал он в заключение.

— Какая приниженность и какое величие!

— Одно соответствует другому.

— Сколько разбитых надежд! Сколько замыслов, потерпевших крушение!

— Семь миль развалин! Обелиски, дворцы, башни: развалины Пальмиры среди пустыни, — сказал, смеясь, Жюст.

Мы прозвали нашего соседа «развалины Пальмиры». Уходя обедать в тот унылый ресторан на улице Лагарп, где мы были абонированы, мы осведомились об имени постояльца, проживающего в номере тридцать седьмом, и тогда-то мы услышали необычное имя, поразившее наше воображение, — З. Маркас. Как истые дети, мы повторили свыше ста раз с самыми различными интонациями — то шуточными, то меланхолическими — это имя, звуки которого делали его вполне пригодным для подобной игры. Жюст ухитрялся так выговаривать звук «З», что создавалось впечатление взвивающейся ракеты; затем, пышно развернув первый слог фамилии, произносил второй глухо и отрывисто, как бы рисуя картину низвержения этой ракеты.

— Да все-таки чем же, как же он живет?

Между этим вопросом и тем невинным подсматриванием, к которому нас побуждало любопытство, прошло ровно столько времени, сколько потребовалось для осуществления возникшего у нас проекта. Вместо того чтобы бродить по улицам, мы вернулись домой. Каждый из нас запасся романом — и ну читать да прислушиваться. Среди глубокой тишины, царившей в обеих наших мансардах, мы услышали ровное, тихое дыхание спящего человека. Я первый обратил на это внимание.

— Он спит, — сказал я Жюсту.

— В семь часов! — ответил «доктор».

Таково было прозвище, которое я дал Жюсту. Меня он прозвал «министром юстиции».

— Нужно быть очень несчастным, чтобы столько спать, — сказал я и вскочил на комод, вооружившись огромным ножом, в рукоятку которого был вделан штопор. Я провернул им в переборке круглое отверстие величиной с мелкую монету. Приложив глаз к дырке, я увидел перед собой только мрак: я не подумал о том, что было уже темно. Когда, около часу ночи, мы закрыли наши романы и уже хотели раздеваться, в комнате соседа послышался шорох; он встал, чиркнул спичкой и зажег свечу. Я снова взобрался на комод и увидел, что Маркас сидит у стола и переписывает какие-то деловые бумаги. Его комната была вдвое меньше нашей, кровать стояла в углублении стены, рядом с дверью. Правда, коридор, кончавшийся у его каморки, не отнял у нее часть площади, как в нашей комнате. Но участок земли, на котором стоял наш дом, был, видимо, срезан с углов: наружная стена дома, примыкавшая к соседнему владению, имела вид трапеции, а как раз в этом конце дома и находилась мансарда Маркаса. В этой комнате не было камина — а только небольшая белая изразцовая печка, вся в зеленых пятнах; труба ее выходила на крышу. На прорезанном в трапеции окне висели дрянные рыжие занавески. Кресло, рабочий стол и нищенский ночной столик — вот и вся мебель. Свое белье Маркас держал в стенном шкафу. Обои на стенах были ужасающие. Очевидно, до Маркаса здесь жил кто-то из прислуги. Я слез с комода.

— Что ты видел? — спросил «доктор».

— Взгляни сам, — ответил я.

На следующее утро, в девять часов, Маркас лежал в постели. Он успел позавтракать дешевой колбасой: мы увидели на тарелке, среди крошек, остатки этого хорошо известного нам продукта питания. Маркас спал. Он проснулся лишь около одиннадцати часов, встал и вновь принялся за переписку бумаг; снятые им за ночь копии лежали на столе. Уходя, мы осведомились внизу о цене занимаемой им комнаты и узнали, что она стоит пятнадцать франков в месяц. За несколько дней мы до мельчайших подробностей изучили образ жизни З. Маркаса. Он переписывал различные бумаги, видимо, по столько-то за лист, и сдавал свою работу посреднику, который жил во дворе судебной палаты и брал заказы на переписку. Полночи Маркас работал, с шести до десяти спал, затем снова занимался перепиской до трех, потом относил снятые им копии, обедал за девять су у Мизере на улице Мишель-ле-Конт, наконец возвращался к шести часам домой и тут же ложился спать. Мы убедились в том, что Маркас не произносит за месяц и пятнадцати фраз: он ни с кем не разговаривал, не разговаривал даже сам с собой в своей нищенской мансарде.

— Решительно, «развалины Пальмиры» безмолвствуют! — воскликнул Жюст.

Это молчание человека, наружность которого была столь внушительна, таило в себе что-то глубоко знаменательное. Взгляды, которыми мы с ним порой обменивались при встрече, говорили о том, что и ему случалось думать о нас, как мы думали о нем, но на том дело и кончалось. Незаметно этот человек стал для нас предметом горячего восхищения. Что было тому причиной? Мы и сами затруднились бы сказать! Скрытые ли от всех простота и монашеское однообразие его жизни, отшельническая ли его воздержанность или этот унылый труд, который давал его уму возможность бездействовать или работать, по желанию, и свидетельствовал об ожидании какого-то счастливого события, о каком-то твердо установившемся взгляде на жизнь? Долгое время наши мысли были заняты «развалинами Пальмиры», потом мы забыли о них: ведь мы были так молоды! А там наступил карнавал, тот парижский карнавал, который отныне затмит старинный карнавал в Венеции и через несколько лет будет привлекать в Париж всю Европу, если только не помешают этому злополучны префекты полиции. На время карнавала следовало бы допускать азартные игры; но тупые моралисты, добившиеся запрещения этих игр, просчитались, как дураки; видно, они согласятся терпеть это неизбежное зло лишь тогда, когда им будет доказано, что миллионы франков, которые могли бы остаться во Франции, уходят в Германию.

Вслед за веселым карнавалом, для нас, как и для всех студентов, наступили дни крайней нужды. Все предметы роскоши были проданы; каждый из нас спустил свой второй сюртук, свою вторую пару сапог, свой второй жилет — словом, все, что имелось у него в двух экземплярах, кроме своего друга. Мы питались хлебом и колбасой, мы ступали с осторожностью, мы засели за работу; мы два месяца не платили за комнату и знали наверняка, что каждого из нас ждет у привратника объемистый счет, строк в шестьдесят — восемьдесят, на сумму от сорока до пятидесяти франков. Достигнув нижней квадратной площадки лестницы, мы уже не держались развязно и весело, а нередко перепрыгивали через нее одним прыжком, прямо с последней ступеньки на улицу. В тот день, когда у нас кончился табак для наших трубок, мы вспомнили, что уже несколько дней перестали намазывать хлеб маслом. Грусть наша не поддавалась описанию.

— Табаку нет, — сказал «доктор».

— Плаща нет, — сказал «министр юстиции».

— А, бездельники! — воскликнул я, повысив голос, — вы вздумали рядиться опереточными почтарями, переодеваться маскарадными грузчиками, ужинать по утрам и завтракать по вечерам у Вери, а порой и в ресторане «Канкальская скала»... А ну-ка, на хлеб всухомятку, господа! Вам следовало бы спать под вашими кроватями, вы не достойны лежать на них...

— Так-то так, «господин министр», но табаку-то ведь нет, — сказал Жюст.

— Пора писать нашим теткам, нашим матерям, нашим сестрам, что у нас нет больше белья, что при парижских расстояниях износилось бы за это время и белье, связанное из проволоки. Разве это не интереснейшая химическая проблема — превратить белье в деньги?

— Нужно еще прожить до получения ответа.

— Пойду возьму взаймы у кого-нибудь из наших друзей, кто еще не исчерпал своих капиталов.

— А много ты добудешь?

— Что ж! Десять франков, — ответил я гордо.

Разговор наш происходил в полдень. Маркас слышал его. Он постучался к нам и сказал:

— Господа, вот табак. Вы мне его отдадите при первой возможности.

Нас поразило не предложение — мы его приняли, — но густота, мощь, полнозвучность этого голоса. Единственное, с чем можно его сравнить, — это четвертая струна на скрипке Паганини[[2]](#footnote-2). Маркас скрылся, не дожидаясь нашей благодарности. Мы с Жюстом переглянулись в глубоком молчании. Найти помощь у человека, который был явно беднее нас! Жюст сел писать всем своим родственникам, я же отправился вести переговоры о займе. Мне удалось раздобыть у земляка двадцать франков. В то печально-веселое время еще существовали игорные дома, и в их недрах, твердых, как горные породы бразильских рудников, молодые люди имели возможность, рискуя немногим, добыть несколько луидоров. У земляка был турецкий табак, привезенный из Константинополя каким-то моряком. Он уделил мне столько же, сколько мы получили от З. Маркаса. Я вернулся с этим богатым грузом, мы отправились к нашему соседу и торжественно преподнесли ему пачку соблазнительного золотистого турецкого табака взамен его грошового курева.

— Вы не захотели остаться моими должниками, — сказал он. — Вы отдаете мне золото за медь, вы дети... славные дети...

Он произнес каждую из этих трех фраз другим тоном, в каждую вложил иное выражение. Обыкновенные слова, но выражение... О! Выражение превращало нас в друзей, как будто связанных с ним десятилетним общением. Заслышав наши шаги, Маркас спрятал свою работу; мы поняли, что было бы нескромностью спрашивать его, каким путем добывает он средства к жизни, и устыдились своего соглядатайства. Стенной шкаф был открыт, там лежали только две рубашки, белый галстук и бритва. Вид бритвы заставил меня содрогнуться. Неподалеку от окна висело зеркало ценою не больше пяти франков. Спокойные и скупые жесты этого человека носили на себе отпечаток какого-то сурового величия. Мы с «доктором» переглянулись, как бы советуясь, чтó именно ответить нашему соседу. Видя мое замешательство, Жюст шутливым тоном спросил:

— Вы служитель муз, сударь?

— Сохрани меня бог, — ответил Маркас. — Я не был бы тогда так богат.

— Мне думалось, что только поэзия может в наши дни довести человека до жизни в такой каморке, как наши, — сказал я.

Эти слова вызвали улыбку на желтом лице Маркаса, оно вдруг стало обаятельным.

— Столь же строго к неудачникам и честолюбие, — сказал он. — Вы только еще вступаете в жизнь: идите же по проторенным путям. Не стремитесь возвыситься, вы погубите себя.

— Вы советуете нам остаться тем, чем мы являемся сейчас? — спросил, улыбаясь, «доктор».

В шутках молодежи есть такое детское, такое заразительное обаяние, что, услышав слова Жюста, Маркас опять улыбнулся.

— Какие события привели вас к такой жуткой философии? — спросил я его.

— Я опять забыл, что случай представляет собой результат гигантского уравнения, не все корни которого нам известны. Когда отправляешься от нуля, чтобы попытаться достигнуть единицы, шансы с трудом поддаются исчислению. Честолюбцам Париж представляется огромной рулеткой, и каждый молодой человек воображает, что если он будет удваивать ставки, то в конце концов непременно выиграет.

Он протянул нам полученный от нас табак и предложил выкурить с ним трубку. «Доктор» сходил за нашими трубками, Маркас набил свою и перешел в нашу комнату, захватив табак с собою: в его каморке был только один стул и одно кресло. Жюст, проворный, как белка, спустился вниз и вернулся с трактирным слугой; на подносе у слуги оказались три бутылки бордо, сыр бри и хлеб.

«Так, — определил я про себя, — пятнадцать франков».

Я угадал с точностью до одного су: Жюст важно выложил на камин пять франков сдачи.

Существует неизмеримое различие между человеком, который является членом культурного общества, и человеком, живущим в непосредственной близости к природе. Туссен-Лувертюр[[3]](#footnote-3), попав в плен, умер, не проронив ни слова. Наполеон, очутившись на своей скале, затрещал, как сорока[[4]](#footnote-4): ему захотелось объяснить свои поступки. З. Маркас совершил ту же ошибку — правда, только в отношении Жюста и меня. Молчание, во всем его величии, можно найти лишь у дикаря. Нет такого преступника, который не испытывал бы порожденной жизнью в обществе потребности поведать кому-нибудь свои тайны, хотя мог бы молча предоставить им скатиться вместе с его головой в красную корзину, стоящую возле гильотины. Я ошибаюсь. Мы видели, как один из ирокезов предместья Сен-Марсо поднял натуру парижанина до высоты натуры дикаря. Нашелся человек — республиканец, заговорщик, француз, старик, — превзошедший все, что мы знали до сих пор о твердости негров, все то презрительное спокойствие, которое присуще побежденным краснокожим в изображении Купера: Морэ[[5]](#footnote-5), этот Гватимозин[[6]](#footnote-6) монтаньяров, сохранил самообладание, неслыханное в летописях европейского правосудия.

Вот что рассказал нам в то утро Маркас, прерывая свое повествование для того, чтобы съесть тартинку с сыром и запить ее вином. Мы выкурили весь табак. Только фиакры, пересекавшие площадь Одеона, да омнибусы, бороздившие ее, порой напоминали нам своим глухим рокотом о том, что за окном — Париж.

Маркас был родом из Витре, его родители жили на ренту в полторы тысячи франков. Он бесплатно учился в семинарии, но по окончании курса отказался стать священником; ощутив в себе пламень неукротимого честолюбия, он двадцати лет пришел в Париж пешком, с двумя сотнями франков в кармане. Маркас окончил юридический факультет, одновременно работал в конторе стряпчего, где дослужился до должности старшего клерка. Он имел диплом доктора прав, был знатоком законодательств древнего и нового времени и разбирался в них лучше самых знаменитых адвокатов. Он знал международное право, все европейские договоры, практику международных отношений. Он изучал людей и жизнь в пяти столицах: в Лондоне, Берлине, Вене, Петербурге и Константинополе. Никто не мог указать вернее его все прецеденты к любому случаю из практики палаты депутатов. Он в течение пяти лет писал отчеты о заседаниях обеих палат для одной из ежедневных газет. У него был дар импровизации, он говорил превосходно и мог говорить долгое время — тем обаятельным, глубоким голосом, который так запал нам в душу. Повествуя о своей жизни, Маркас доказал нам, что он великий оратор, его речь отличалась сжатостью, серьезностью и в то ж время захватывающей страстностью. Внутренний жар его слов, одушевлявшие их движения чувств, столь любезные широким массам, роднили его с Беррье; тонкостью ума, искусством убеждать он напоминал господина Тьера, но он не был так расплывчат, так нерешителен в выводах. Маркас рассчитывал сразу шагнуть к власти, не связав себя доктринами, которые необходимы для деятеля оппозиционной партии, но в дальнейшем для государственного деятеля становятся стеснительными.

Маркас изучил все, что должен знать истинный государственный деятель; поэтому он чрезвычайно удивился, убедившись в глубоком невежестве тех лиц, которые во Франции захватили в свои руки управление государством. Если призвание Маркаса побудило его к занятию науками, то природа, со своей стороны, щедро наделила его теми дарами, которые приобрести невозможно: острой проницательностью, самообладанием, гибкостью ума, быстротой суждения, решительностью и — что составляет особую силу людей подобного склада — неистощимой изобретательностью в выборе средств.

Наступил день, когда Маркас счел себя достаточно вооруженным. Францию раздирали тогда внутренние распри, порожденные победой Орлеанской ветви Бурбонов над старшей. Поле политических битв явно изменилось. Гражданская война теперь не может тянуться долгое время, в провинциях она уже не возникнет. Произойдет непродолжительная борьба в столице, местопребывании правительства, и эта борьба явится завершением той борьбы идей, которая перед тем разыграется между избранными умами. Такое положение вещей продлится до тех пор, пока во главе французского народа будет то своеобразное правительство, которое правит им ныне, — власть, не похожая ни на какую другую: ведь английское правительство имеет столь же мало общего с французским, как и территория Англии с территорией Франции. Областью, наиболее подходящей для Маркаса, явилась поэтому политическая пресса. Он был беден и не мог добиться избрания в палату; это ставило его в необходимость сразу проявить себя. Он решился на самую тяжелую жертву, какую может принести выдающийся человек, отдав свое перо на службу интересам одного богатого и честолюбивого депутата. Новый Бонапарт, он подыскивал себе Барраса; новый Кольбер надеялся найти Мазарини. Маркас оказал своему покровителю огромные услуги. При этом он не становился в позу, не превозносил себя, не жаловался на людскую неблагодарность; он оказал своему покровителю эти услуги в надежде, что тот поможет ему стать депутатом. Маркас желал лишь одного: получить взаймы такую сумму денег, которая дала бы ему возможность купить себе дом в Париже и тем приобрести требуемый избирательным законом имущественный ценз. Ричард III[[7]](#footnote-7) хотел только коня!

В три года Маркас создал одного из тех многочисленных мнимо одаренных политических деятелей, которые являются как бы ракетками в руках хитреца, исподтишка перебрасывающего из одной руки в другую министерские портфели, — так хозяин уличного театра марионеток сталкивает на своей сцене полицейского комиссара с Полишинелем[[8]](#footnote-8) в надежде на хороший сбор. Этот человек держался Маркасом, но был достаточно умен, чтобы правильно оценить того, кто сумел выкрасить его в подобающие цвета, и понять, что если Маркас выдвинется, то окажется человеком, необходимым для правительства, тогда как он, его бывший покровитель, будет сдан в архив — в палату пэров. Поэтому покровитель решил ни в коем случае не дать Маркасу стать на виду, но скрыл это намерение под маской беззаветной преданности, причем, как все мелкие люди, умел притворяться необычайно искусно. Постепенно он начал обнаруживать свою неблагодарность — ведь ему надо было убить Маркаса, чтобы тот не убил его. Эти два человека, казавшиеся столь тесными союзниками, возненавидели друг друга, как только один из них решился обмануть другого. Государственный муж вошел в состав министерства, Маркас остался в оппозиции, чтобы обезопасить своего министра от возможных нападений; и, чудом ловкости, он даже добился для него похвал со стороны оппозиции. Чтобы избавиться от необходимости вознаградить своего помощника, государственный муж сослался на невозможность сразу же, без достаточной подготовки, предоставить видное место оппозиционеру. Маркас же рассчитывал на такое место, чтобы потом приобрести путем женитьбы желанный избирательный ценз. Ему было тридцать два года, он предвидел роспуск палаты. Уличив своего министра в явной недобросовестности, он сверг его — или, во всяком случае, не мало способствовал его падению — и вывалял сановника в грязи.

Всякий низвергнутый министр должен, чтобы вернуться к власти, показать, что он опасен; этот человек, опьяненный ласковыми речами короля и вообразивший себя министром надолго, понял теперь свою ошибку. Он признал ее, одновременно оказав Маркасу небольшую денежную услугу, ибо тот вошел в долги за время этой борьбы. Он поддержал газету, где работал Маркас, и добился того, что Маркаса назначили ее редактором. Маркас хоть и презирал его, но, получив от него таким образом как бы задаток, согласился сделать вид, что переходит на сторону низвергнутого министра. Еще не обнаруживая всей мощи своих дарований, Маркас ввел в бой несколько бóльшие силы, показал половину того, на что он был способен; новое министерство просуществовало всего сто восемьдесят дней — его растерзали. Маркасу пришлось иметь дело кое с кем из депутатов, он вертел ими как ему хотелось и внушил им высокое мнение о своих талантах. Его манекен снова получил портфель министра, и газета Маркаса стала органом министерства. Министр слил эту газету с другой — единственно для того, чтобы таким способом уничтожить Маркаса: при слиянии обеих газет тому пришлось уступить место конкуренту, богатому и наглому человеку с именем, уже крепко сидевшему в седле.

Маркас впал снова в крайнюю нужду, надменный министр хорошо знал, в какую пропасть он столкнул своего помощника. Куда идти? Газеты, поддерживавшие министерство, негласно предупрежденные, отказались от его сотрудничества. Оппозиционные газеты также не склонны были открыть ему двери своих редакций. Маркас не мог перейти ни к республиканцам, ни к легитимистам: ведь торжество этих партий означало бы крушение нынешнего государственного строя.

— Честолюбцы любят современность, — сказал он нам с улыбкой.

Чтобы заработать себе на хлеб, он написал несколько статей, касавшихся некоторых коммерческих предприятий, и принял участие в составлении одного из тех энциклопедических словарей, которые обязаны были своим появлением не науке, а спекуляции. Наконец, была основана газета, но ей суждено было просуществовать всего два года; редактировать ее пригласили Маркаса. Тогда он возобновил связи с врагами министра и примкнул к той партии, которая стремилась его свергнуть; как только он получил возможность действовать, министерство пало.

Газета Маркаса прекратила свое существование полгода назад; ему нигде не удалось найти себе места, он слыл человеком опасным, на него клеветали: совсем недавно он несколькими статьями и одним памфлетом подорвал некую необычайно крупную финансовую и коммерческую операцию. Уверяли, что за его спиной стоит банкир, который будто бы дорого заплатил ему и от которого он якобы ждет ответной услуги за свою верную службу. Устав от пятилетней борьбы, почувствовав отвращение к людям и к жизни, удрученный необходимостью зарабатывать себе на пропитание, что мешало ему успешно действовать, Маркас, которого считали скорее кондотьером, чем великим полководцем, пришел в отчаяние, видя, как золото развращает мысль, и, задыхаясь в тисках самой страшной нужды, уединился в своей мансарде. Он зарабатывал тридцать су в день — ровно столько, сколько ему требовалось, чтобы поддерживать свое существование. Он жил погруженный в свои мысли, — и словно пустыня раскинулась вокруг него. Он читал газеты, чтобы быть в курсе политических событий. Так жил некоторое время Поццо ди Борго[[9]](#footnote-9). По-видимому, Маркас обдумывал план какой-то серьезной атаки; его отшельническое молчание объяснялось, быть может, тем, что он хотел таким путем приучить себя скрывать свои мысли и наказать себя за допущенные ошибки. Причин своего поведения он нам не открыл.

Невозможно описать вам те сцены из области высокой комедии, которые скрывались под этим алгебраическим синтезом его жизни: долгие часы томительного ожидания удачи, которая кажется вероятной и не наступает; длительная погоня за ней сквозь чащу парижских джунглей; беготня задыхающегося просителя; попытки чего-то добиться от дураков; возвышенные проекты, разрушаемые влиянием тупой женщины; совещания с лавочниками, требующими, чтобы их капиталы дали им и ложу в театре, и звание пэра, и большие проценты; надежды, которые достигают наивысшей точки, а затем, обрываясь, падают и разбиваются о подводные скалы; чудеса ловкости, совершенные для того, чтобы сблизить между собой противоположные интересы, которые, после недельного союза, вновь разъединяются; досада при виде того неизменного предпочтения, которым тысячи глупцов, невежественных как приказчики, но украшенных ленточкой Почетного легиона, пользуются перед талантливыми людьми; наконец, то явление, которое Маркас называл ухищрениями глупости: вы наседаете на человека, вам как будто удалось его убедить, он кивает головой, все почти улажено, а на следующий день вы видите, что эта упругая резина, которую вы на миг сжали, за ночь снова приняла прежнюю форму, даже раздулась, и нужно начинать сначала; вы трудитесь снова — до тех пор, пока не поймете, что имеете дело не с человеком, а с резинообразной массой, высыхающей на солнце.

Эти неисчислимые неудачи, эта огромная и бесплодная трата сил, все те трудности, на которые наталкиваешься, когда хочешь сделать благое дело, вся та невероятная легкость, с какой можно причинять зло; две решающие партии — обе выигранные, обе проигранные; ненависть государственного деятеля, который хоть и представляет собой деревянное чучело с размалеванным лицом и наклеенными волосами, однако пользуется авторитетом, — все это, большое и малое, если не сломило мужество Маркаса, то временно как бы придавило его. Когда у него водились деньги, он не тратил их на себя, а доставлял себе божественное удовольствие отсылать их своей семье — сестрам, братьям, старику отцу. Сам же он, уподобившись низложенному Наполеону, довольствовался тридцатью су в день, а в Париже энергичный человек всегда может заработать такую сумму.

Когда он закончил этот рассказ о своей жизни, рассказ, пересыпанный рассуждениями, афоризмами и замечаниями, в которых сказывался выдающийся политический деятель, нам достаточно было перекинуться с ним несколькими вопросами и ответами насчет положения вещей во Франции и в Европе, чтобы убедиться в том, что перед нами — настоящий государственный деятель, ибо можно быстро и легко оценить человека, как только он начинает обсуждать сложные вопросы; для людей незаурядных существуют *шиболеты* [[10]](#footnote-10), и мы принадлежали к числу современных левитов[[11]](#footnote-11), хотя еще и не были допущены в храм. Как я уже сказал, под видимостью рассеянного образа жизни скрывались замыслы, которые Жюст уже осуществил и которые собираюсь осуществить и я.

Обменявшись мыслями, мы вышли втроем на улицу и, невзирая на холод, отправились в Люксембургский сад погулять там до обеда. Мы продолжали беседовать и во время прогулки. Разговор наш, по-прежнему носивший серьезный характер, коснулся всех больных мест политического положения тех дней. Каждый из нас внес в него свою лепту: результаты своих наблюдений, остроту, шутку, афоризм. Речь шла уже не только о той, огромного масштаба, жизни, которую перед тем нарисовал нам Маркас, этот солдат политических сражений. То не был и страшный монолог потерпевшего крушение мореплавателя, заброшенного бурей в мансарду гостиницы на улице Корнеля. То был диалог, в котором двое образованных молодых людей, составивших себе суждение о современной им эпохе, старались, под руководством одаренного человека, выяснить свое собственное будущее.

— Почему вы не захотели терпеливо выждать удобного случая? — спросил Жюст у Маркаса. — Почему не взяли пример с единственного человека[[12]](#footnote-12), который со времени Июльской революции сумел неизменно держаться на гребне волны и благодаря этому выдвинулся?

— Разве я уже не сказал вам, что всевозможные случайности создают уравнение, не все корни которого нам известны? В таком же положении, как этот оратор, находился Каррель[[13]](#footnote-13). Этот угрюмый молодой человек, этот ум, проникнутый горечью, вмещал в себе целое правительство; тот же, о ком вы говорите, просто умел сыграть на любом событии, он подобен тому, кто вскакивает на круп лошади едущего мимо всадника. Значительнее был не он, а Каррель. И что же? Он становится министром, Каррель остается журналистом; неполноценный, но ловкий человек живет, Каррель умирает. Заметьте, что этот человек идет по пути к своей цели уже пятнадцать лет, и он все еще в пути; стоит ему попасть между двух повозок, полных интригами, на большой дороге к власти, и он будет раздавлен. Он не знатного рода, его не укроет, как Меттерниха, королевское покровительство или, как Виллея, спасительная крыша сплоченного большинства. Я не думаю, что теперешнему строю удастся продержаться еще десять лет. Таким образом, даже если предположить, что на мою долю выпадет это безрадостное счастье, все равно окажется, что я опоздал; ведь чтобы не быть сметенным вихрем того движения, которое я предвижу, я должен был бы уже теперь занимать высокий пост.

— Какое движение вы разумеете? — спросил Жюст.

— Революцию тысяча восемьсот тридцатого года сделала молодежь — она вязала снопы; ее сделали те, кто мыслит, — они вырастили урожай, — ответил Маркас торжественно, указывая рукой на Париж. — И что же! Строй, созданный этой революцией, ничего не дал ни молодежи, ни тем, кто мыслит. Молодежь взорвется, как котел паровой машины. Во Франции у молодежи нет выхода, и в ее среде растет лавина непризнанных талантов, растут беспокойные стремления законного честолюбия; молодежь неохотно вступает в брак, сéмьи не знают, что им делать со своими детьми; какой призыв потрясет эти толпы — не знаю; но они ринутся на современный строй и опрокинут его. Существуют законы прилива и отлива, властвующие над поколениями; эти законы упустила из виду Римская империя в пору нашествия варваров. Сегодня эти варвары — те, кто мыслит. Законы переполнения медленно, неуловимо действуют опять среди нас. Правительство — вот на ком лежит великая вина: оно не умеет оценить те две силы, которым оно всем обязано, оно дало нелепой букве закона связать ему руки, оно похоже на жертву, уже приготовленную к закланию. Людовик Четырнадцатый, Наполеон, Англия всегда искали и ищут молодых людей с головой. Во Франции над молодежью произнесен приговор — новыми законами, неблагоприятным избирательным цензом, недочетами положения о министрах. Возьмите состав выборной палаты — вы не найдете там ни одного тридцатилетнего депутата: молодость Ришелье и Мазарини, молодость Тюренна и Кольбера, Питта и Сен-Жюста, молодость Наполеона, князя Меттерниха не нашли бы в ней места. Борк, Шеридан, Фокс не могли бы быть ее членами. Даже если бы политическое совершеннолетие было снижено до двадцати одного года и уничтожены все условия, ограничивающие право быть избранным в палату, департаменты все равно выбрали бы нынешних представителей, людей политически бездарных, неспособных говорить, не уродуя грамматику, людей, среди которых за десять лет с трудом нашелся один государственный деятель. Можно угадать причины, которые приведут к тому или другому событию: само событие предвидеть нельзя. Сейчас всю молодежь толкают к республиканским идеям: она видит в Республике свое освобождение. Она вспомнит о молодых депутатах и молодых генералах! Неосторожность правительства сравнима только с его скупостью.

Этот день имел для нас большое значение: слова Маркаса укрепили нас в решении покинуть Францию, где молодые люди, полные дарований и энергии, не могут выбиться из-под гнета завистливых и ненасытных посредственностей, добившихся успеха. Маркас стал обедать вместе с нами на улице Лагарп. Мы испытывали к нему чувство почтительной привязанности, а он оказывал нам деятельную помощь в сфере идей. Этот человек все знал, все изучил. Сочувствуя нашим замыслам, он подверг рассмотрению весь социально-политический мир, стараясь выяснить, в каких государствах мы могли бы рассчитывать найти наибольшие шансы на успех. Он указывал нам те отрасли знаний, в которых нам следовало совершенствоваться; он торопил нас, разъясняя нам, как важно не терять времени: начнется эмиграция, она отнимет у Франции сливки ее энергии, ее молодых умов, и эти умы — а это будут, несомненно, умы проницательные — займут все лучшие места, почему нам и необходимо опередить их. С тех пор мы просидели немало вечеров у лампы за книгой. Наш великодушный наставник написал для нас несколько памятных записок — две для Жюста и три для меня; это были изумительные руководства, сокровищница сведений, которые может дать лишь опыт, те вехи, которые умеет расставить лишь гений. На этих страницах, пропахших табаком, исписанных неразборчивым почерком, почти иероглифами, рассыпаны ценнейшие указания, безошибочные предвидения. Некоторые из прогнозов Маркаса, касавшихся Америки и Азии, оправдались еще до нашего с Жюстом отъезда.

Маркас — как, впрочем, и мы — дошел до предела нужды: он зарабатывал себе на пропитание, но у него не осталось ни белья, ни платья, ни обуви. Он не изображал себя лучшим, чем был на деле; мечтая о власти, он мечтал и о роскоши. Того, кто прозябал тогда в его обличье, он не признавал за подлинного Маркаса. Он предал свою телесную оболочку случайностям реальной жизни. Он жил духом своего честолюбия, он и мечтал о мести и корил себя за то, что отдается столь суетному чувству. Истинный государственный деятель должен быть прежде всего равнодушен к мелким страстишкам, у него, так же как у ученого, должна быть лишь одна страсть: его наука. В эти дни нужды Маркас казался нам великим, даже грозным; было что-то страшное в его взгляде: он как будто созерцал еще другой мир, сверх того, который открыт глазам посредственных людей. Он был для нас предметом изучения и восторга, ибо в молодости (кто из нас не испытал этого?) человек живо чувствует потребность восхищаться, юноша легко привязывается; он от природы склонен подчиняться людям, которые кажутся ему стоящими выше его, точно так же как он готов самоотверженно служить великим целям. Особенно мы удивлялись равнодушию Маркаса к любви: женщина ни разу не потревожила его жизни. Когда однажды была затронута эта тема — вечная тема разговоров между французами, — он сказал нам просто:

— Они обходятся слишком дорого!

Заметив взгляд, которым мы обменялись с Жюстом, он продолжал:

— Да, слишком дорого. Женщина, которую вы покупаете — а это еще самая дешевая, — требует у вас больших денег; та же, которая отдается вам, отнимает все ваше время! Женщина угашает всякую деятельность, всякое честолюбие. Наполеон низвел ее до подобающей ей роли. В этом отношении он был велик, он не знал разорительных причуд Людовика Четырнадцатого и Людовика Пятнадцатого, но втайне и он любил.

Мы открыли, что, подобно Питту, которому Англия заменяла жену, Маркас носил в своем сердце Францию: она была его кумиром; все его мысли принадлежали родине. Его печалило зрелище тех язв, которые все больше разъедали ее общественную жизнь, и грызло бешенство при мысли, что у него в руках средство исцеления от этих язв, но что он не может его применить. Бешенство его усугублялось сознанием, что на международной арене Франция стоит ниже Англии и России. Франция — на третьем месте! Этот возглас повторялся все вновь и вновь во время наших бесед. Недуг отечества стал его собственным недугом. Борьбу королевского двора с парламентом, изобиловавшую переменами и непрестанными превратностями, столь вредными для благосостояния страны, он сравнивал с мелочной грызней привратников.

— Если с нами живут в мире, то лишь за счет будущего, — говорил он.

Однажды вечером мы с Жюстом работали; в комнате царила глубокая тишина, Маркас ушел к себе переписывать бумаги; несмотря на наши живейшие уговоры, он отказался от нашей помощи. Мы предложили было по очереди сменять его, чтобы освободить от двух третей этого притупляющего труда; он рассердился, и мы не настаивали. Вдруг в нашем коридоре раздались шаги, по звуку можно было заключить, что кто-то идет в дорогой обуви. Мы подняли головы и переглянулись. Пришелец постучался к Маркасу; тот никогда не запирал свою дверь. Мы услышали, как наш великий человек произнес сначала:

— Войдите!

А потом:

— Как? Это вы, сударь?

— Я самый, — отвечал бывший министр.

Это был Диоклетиан[[14]](#footnote-14) нашего безвестного мученика. Между нашим соседом и гостем завязался разговор вполголоса. Маркас лишь изредка вставлял слово-другое, как это бывает на заседаниях, когда докладчик начинает с изложения фактов. И вдруг, при каком-то предложении, сущность которого осталась нам неизвестной, его взорвало.

— Вы сами стали бы потешаться надо мной, вздумай я вам поверить, — сказал он. — Время иезуитов прошло, но иезуитизм вечен. Вы неискренни и в вашем макиавеллизме, и в вашей щедрости. Вы-то умеете рассчитывать; но на вас рассчитывать нельзя. Ваш двор состоит из сов, которые боятся яркого света, из стариков, которые трепещут перед молодежью или о ней не заботятся. Правительство равняется по двору. Вы откопали последышей Империи, так же как Реставрация зачислила на службу вольтижеров[[15]](#footnote-15) Людовика Четырнадцатого. Пятиться назад из боязни и трусости доныне считается искусным маневром; но наступят дни опасности, и снова, как в тысяча семьсот девяностом году, на сцену выступит молодежь. Она совершила то великое, чем прославились те годы. Сейчас вы меняете министров, как больной меняет положение в своей постели. Эти колебания нашего правительства говорят о том, что оно уже одряхлело. Вы ввели систему политического мошенничества, которая обратится против вас же самих, ибо Франция устанет от вашего лицемерия. Она не скажет вам, что устала; никто не знает, от чего именно суждено ему погибнуть, — на этот вопрос отвечает история. Но вы наверняка погибнете в отмщение за то, что вы не обратились к молодежи с призывом отдать отечеству свои силы и свою энергию, свое самоотвержение и свой пыл; за то, что вы ненавидите людей одаренных, за то, что вы не захотели любовно выискивать их среди этого даровитого поколения, за то, что вы всегда и везде выбирали только посредственность. Вы пришли просить моей поддержки; но вы принадлежите к тому одряхлевшему большинству, своекорыстному до отвращения, дрожащему, сморщенному, — к этим людям, которые хотят умалить Францию на том основании, что они умаляют самих себя. Мои душевные силы, мои идеи были бы ядом для вас. Вы дважды провели меня, и я дважды сверг вас, вы это знаете. В третий раз заключить с вами союз — это уже дело серьезное. Я покончил бы с собой, если бы позволил еще раз меня обмануть, ибо тогда я потерял бы веру в себя. Вина была бы моя, а не ваша.

Бывший министр настаивал на своем. Он унижался, он горячо заклинал собеседника не лишать страну его высоких талантов, упомянул об отчизне. Маркас ответил многозначительным «ну, ну!» — он издевался над своим лжепокровителем. Государственный муж заговорил яснее. Он признал превосходство своего бывшего советника, он обязался дать ему возможность занять место в правительственном аппарате, стать депутатом; затем он предложил ему весьма высокий пост, уверяя, что отныне готов подчиняться Маркасу, ибо не может работать иначе как под его руководством. Сейчас он, по его словам, включен в состав намеченного нового министерства, но не хочет возвращаться к власти, если Маркасу не будет предостазлен пост, соответствующий его дарованиям; он заявил об этом своем условии, и было признано, что Маркас — человек, без которого нельзя обойтись.

Маркас отказался.

— У меня еще ни разу не было возможности сдержать свои обещания, а теперь, когда эта возможность налицо, вы отказываетесь!

На эту последнюю фразу Маркас ничего не ответил. Изящные башмаки едва слышно прошли по коридору и направились к лестнице.

— Маркас! Маркас! — воскликнули мы, кинувшись к нему в комнату. — Зачем отказываться! Он говорил правду. Он предложил вам почетные условия. К тому же вы сговоритесь с министрами.

В одну минуту мы привели ему сотню доводов. Ведь в голосе будущего министра звучала искренность; хоть мы и не видели его, но чувствовали, что он не лжет.

— У меня нет приличной одежды.

— Положитесь на нас, — сказал, взглянув на меня, Жюст.

У Маркаса хватило мужества довериться нам, в его глазах сверкнула молния, он провел рукой по волосам и откинул их одним из тех жестов, которые говорят о том, что человек поверил в счастье; и когда он, если можно так выразиться, открыл нам свое лицо, мы увидели перед собой человека, совершенно нам неведомого: то был Маркас в каком-то божественном озарении, Маркас у власти, то был разум в своей родной стихии, птица, возвращенная воздуху, рыба, вернувшаяся в воду, лошадь, несущаяся вскачь по родной степи. Но через миг лицо Маркаса вновь потемнело, казалось, он провидел свою судьбу. За белокрылой надеждой следовало по пятам хромое сомнение. Мы оставили Маркаса одного.

— Черт возьми! — сказал я «доктору». — Обещание-то мы дали, а как его выполнить?

— Подумаем об этом на сон грядущий, — ответил Жюст, — а завтра утром поговорим.

На следующее утро мы отправились прогуляться в Люксембургский сад.

У нас было достаточно времени, чтобы поразмыслить обо всем том, что случилось накануне. И Жюст и я дивились тому, как плохо Маркас, столь умело разбирающийся в сложнейших теоретических и практических вопросах политики и общественной жизни, — как плохо он справляется с мелкими повседневными невзгодами. Но ведь все эти возвышенные натуры способны споткнуться о песчинку или потерпеть неудачу при выполнении самых широких замыслов из-за того, что у них не было какой-нибудь тысячи франков. Все та же история, что с Наполеоном, который не отправился в Индию из-за того, что у него не было сапог.

— Что же ты придумал? — спросил Жюст.

— Придумал, как можно сшить в кредит приличное платье.

— У кого?

— У Юмана.

— Каким образом?

— Юман, мой милый, никогда не ходит к своим заказчикам, заказчики ходят к нему. Поэтому Юман не знает, богат я или нет; он знает только, что я статен и умею эффектно носить ту одежду, которую он мне шьет. Я скажу ему, что на меня свалился, как снег на голову, дядюшка из провинции и что равнодушие этого дядюшки к вопросам туалета чрезвычайно вредит мне в том избранном обществе, в среде которого я подыскиваю себе невесту... Юман не будет Юманом, если он пришлет счет на новое платье раньше чем через три месяца.

«Доктор» нашел эту идею блестящей для водевиля, но никуда не годной для практической жизни и усомнился в успехе моей затеи. Однако, клянусь вам, Юман сшил Маркасу платье, и, будучи художником своего дела, именно такое, какое подобает государственному деятелю.

Жюст предложил Маркасу двести франков золотом — деньги, которые он выручил, купив в кредит двое часов и заложив их в ломбарде. Я, со своей стороны, преподнес ему, без особых комментариев, шесть рубашек и прочее необходимое белье. Чтобы приобрести их, мне достаточно было обратиться с соответствующей просьбой к старшей продавщице бельевого магазина, с которой я развлекался в дни карнавала. Маркас принял наши дары с благодарностью, не доводя ее, однако, до преувеличений. Он только осведомился, каким способом мы завладели подобными богатствами, и мы в последний раз рассмешили его. Как судовладельцы, исчерпавшие весь свой кредит и все свои деньги на то, чтобы снарядить корабль, радостно смотрят, когда он поднимает паруса, так смотрели мы на нашего Маркаса.

Тут Шарль замолчал, словно подавленный тяжелыми воспоминаниями.

— Ну же! — воскликнул кто-то из слушателей. — Что было дальше?

— Расскажу в двух словах: ведь это не роман, это история из действительной жизни. Маркас исчез с нашего горизонта. Министерство продержалось три месяца, оно пало после сессии. Маркас вернулся к нам без гроша, изнуренный работой. Он заглянул на самое дно кратера, именуемого властью, и сошел с ее высот, уже неся в себе начало нервической лихорадки. Болезнь быстро истощала его, мы обеспечили ему надлежащий уход и лечение. Жюст в первые же дни привел главного врача той больницы, куда он поступил практикантом и где поселился. Я был теперь единственным обитателем нашей комнаты и ухаживал за Маркасом, как самая заботливая сестра милосердия. Но и заботы и наука — все оказалось тщетным. В январе тысяча восемьсот тридцать восьмого года Маркас сам почувствовал, что ему остается жить лишь несколько дней. Государственный деятель, душою которого он был в течение шести месяцев, ни разу не зашел его навестить, не прислал даже узнать о его здоровье. Маркас не скрыл от нас своего глубокого презрения к правительству. По-видимому, он усомнился в судьбах Франции, и это сомнение едва ли не явилось причиной его болезни. Ему показалось, что он обнаружил измену в самом сердце власти — не ту осязаемую, зримую измену, которая сказывается в определенных фактах, но измену, порождаемую подчинением национальных интересов эгоизму отдельных лиц. Эта мысль о том, что Францию ждет упадок, ухудшала состояние больного. Я был свидетелем тех предложений, какие сделал ему один из вожаков партии, против которой он боролся. Ненависть его к тем, кому он ранее пытался служить, была так велика что он с радостью примкнул бы к коалиции, намечавшейся между честолюбцами различных толков: у этих-то была, по крайней мере, одна объединявшая их идея — свергнуть иго двора. Но Маркас ответил явившемуся к нему парламентеру словами, некогда произнесенными в парижской ратуше: «Слишком поздно»[[16]](#footnote-16).

После Маркаса не осталось даже на что похоронить его. Жюсту и мне понадобилось немало усилий, чтобы избавить его прах от унижения погребальных дрог «для бедных». Вдвоем проводили мы катафалк с его гробом до кладбища Монпарнас, и тело З. Маркаса было опущено в общую могилу.

Мы с грустью посмотрели друг на друга, выслушав этот рассказ, — последний из тех, что поведал нам Шарль Рабурден накануне того дня, когда ему предстояло сесть в Гавре на бриг, державший путь к Малайским островам; ведь мы знали не одного Маркаса, не одну жертву самоотверженной политической деятельности, наградой за которою были измены или забвение.

*Жарди, май 1840 г.*

1. *Мирабо* Оноре (1749–1791) — вождь и оратор крупной буржуазии во время Французской буржуазной революции конца XVIII в. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Паганини* Николо (1782–1840) — знаменитый итальянский скрипач, одним из виртуозных приемов которого было (см. текст) исполнение на одной четвертой струне искуснейших вариаций на мотивы оперы Россини «Моисей в Египте». [↑](#footnote-ref-2)
3. *Туссен‑Лувертюр* Франсуа‑Доминик (1743–1803) — вождь восставших негров о. Гаити. Был выдан французским властям в 1802 г. и заключен в крепость, где и умер. [↑](#footnote-ref-3)
4. *«Наполеон, очутившись на своей скале, затрещал, как сорока...»* — Заключенный на о. Св. Елены, Наполеон диктовал там свои мемуары. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Морэ* Пьер — участник Июльской революции, казненный в 1830 г. по обвинению в подготовке террористического акта, предпринятого корсиканцем Фиески против Луи‑Филиппа. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Гватимозин* — последний правитель государства ацтеков в Мексике, взятый в плен Кортесом в 1521 г.; подвергнутый жестоким пыткам, он не выдал испанцам местонахождения своих сокровищ. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ричард III* — английский король (XV в.), герой одноименной исторической хроники Шекспира, воскликнувший во время сражения: «Коня, коня, полцарства за коня!» [↑](#footnote-ref-7)
8. *Полишинель* — герой старинного французского театра марионеток; он умеет ловко провести полицейского и выйти сухим из воды. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Поццо ди Борго* (1768–1842) — русский дипломат, по происхождению корсиканец; был царским послом в Париже многие годы после свержения Наполеона. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Шиболет* — здесь: отличительный, характерный признак. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Левиты* — священнослужители, жрецы. [↑](#footnote-ref-11)
12. *«Единственный человек»* . — Имеется в виду Адольф Тьер (1797–1877) — французский реакционный политик. В период Июльской монархии занимал ряд министерских постов. В 1834 г. подавил рабочие восстания в Лионе и Париже. Палач Парижской коммуны. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Каррель* Арман (1800–1836) — французский публицист либерально‑буржуазного направления. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Диоклетиан* — римский император (с 284 по 305 г.), известный своими гонениями на христиан. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Вольтижеры* — отборная французская легкая пехота. Здесь (в переносном смысле) роялисты, мечтавшие о новом «золотом веке» для дворянства, как при Людовике XIV. [↑](#footnote-ref-15)
16. *«Слишком поздно»* — ответ участников Июльской революции на заявление Карла X об отмене им реакционных «ордонансов», изданных за несколько дней до его низложения. [↑](#footnote-ref-16)